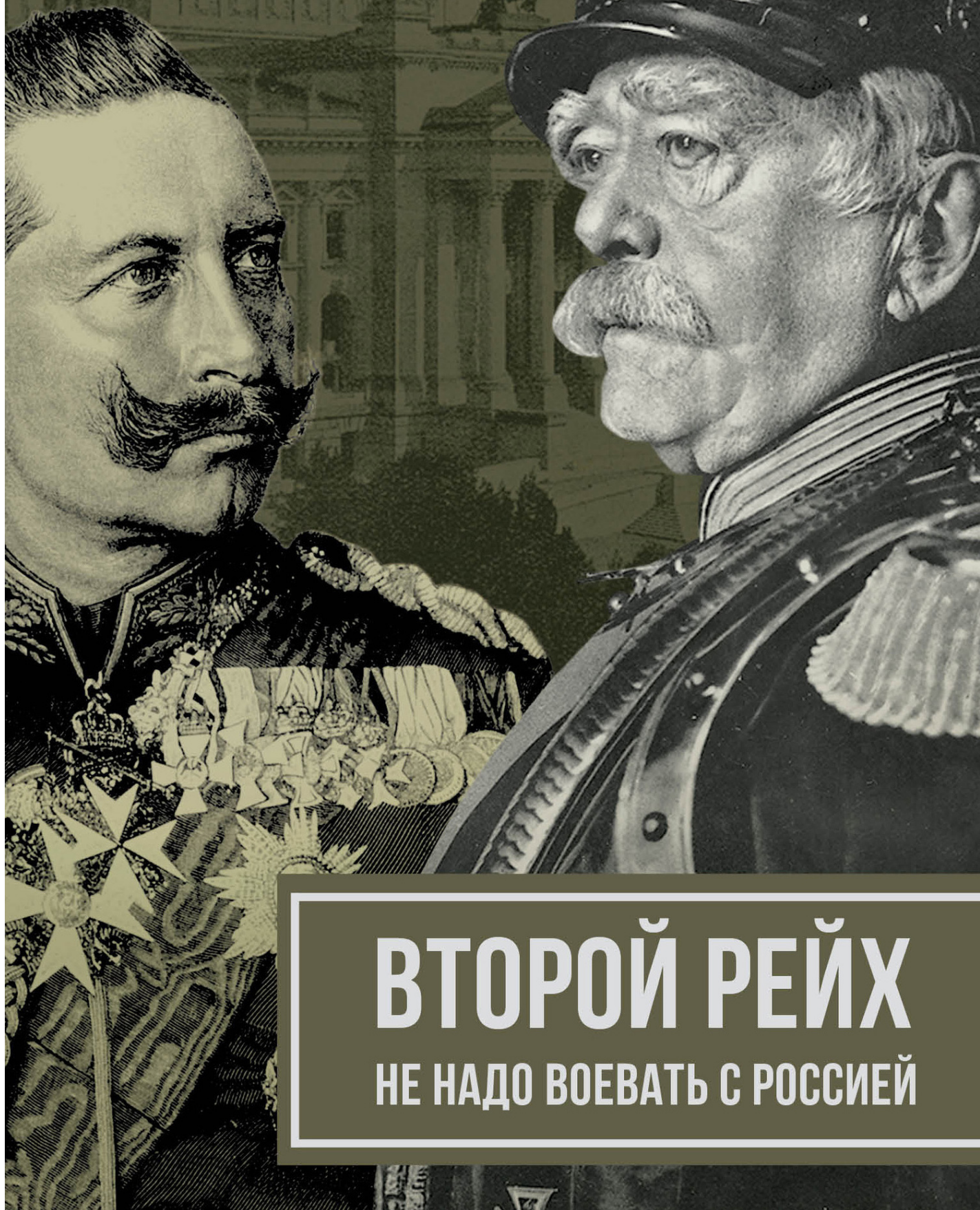


Отто фон Бисмарк



ВТОРОЙ РЕЙХ
НЕ НАДО ВОЕВАТЬ С РОССИЕЙ

Политиздат

Отто фон Бисмарк
**Второй рейх. Не надо
воевать с Россией**

«Алисторус»

УДК 355/359
ББК 63.3

фон Бисмарк О.

Второй рейх. Не надо воевать с Россией / О. фон Бисмарк —
«Алисторус», — (Политиздат)

ISBN 978-5-907149-02-1

Отто фон Бисмарк – одна из культовых личностей в мировой истории. «Железный канцлер» Пруссии, он создал Германскую империю (II Рейх) и сумел упрочить ее положение в мире. Бисмарк прекрасно разбирался во внешней политике, хорошо знал состояние европейских государств и России (он долго жил в Петербурге, являясь послом Пруссии в нашей стране). В своей книге он рассказывает о том, как создавалась Германская империя, как изменилась после этого политическая карта Европы, какую роль сыграла при этом Россия. Вильгельм II был императором Германии с 1888 по 1918 год. Свои воспоминания он начинает с рассказа о Бисмарке: автор пишет, почему Германия не вняла завету Бисмарка не воевать с русскими, какие обстоятельства привели ее к Первой мировой войне. По мнению Вильгельма II, крах трех империй (Германской, Российской и Австро-венгерской) лишь осложнил обстановку на мировой арене как в политическом, так и в социальном плане.

УДК 355/359

ББК 63.3

ISBN 978-5-907149-02-1

© фон Бисмарк О.
© Алисторус

Содержание

О. Бисмарк	5
Начало моей службы. Дело о приверженцах противоестественных пороков. Бракоразводные процессы. Чиновники и население	5
На поприще дипломатии. Крымская война. Союз с Австрией. План раздела России. «Завещание Петра Великого»	10
Николай I и его окружение. Князь Горчаков. Русские обычаи. Посещение Москвы	17
Восстание в Польше. Борьба мнений в Петербурге. Позиция России и германское будущее	28
Конец ознакомительного фрагмента.	32

Отто фон Бисмарк Вильгельм II Второй рейх. Не надо воевать с Россией

**О. Бисмарк
Что ждет Европу и Россию?**

Начало моей службы. Дело о приверженцах противоестественных пороков. Бракоразводные процессы. Чиновники и население

Школьное воспитание было поставлено у нас так, что после окончания школы, если я и не был республиканцем, то все же был убежден, что республика есть самая разумная форма государственного устройства; к этому присоединялись размышления о причинах, заставляющих миллионы людей длительно повиноваться *одному*, между тем как от взрослых мне приходилось слышать резкую и непочтительную критику правителей.

В то же время немецкое национальное чувство было во мне так сильно, что в первое время моего пребывания в университете я примкнул к студенческой корпорации, которая провозглашала своей целью заботу о развитии этого чувства. Однако при личном знакомстве с членами корпорации мне не понравилось их стремление избегать дуэлей и отсутствие у них внешней благовоспитанности и манер, принятых в обществе. Когда я узнал их еще ближе, то не мог одобрить и их экстравагантных политических взглядов; у меня сложилось впечатление, что утопизм сочетался у них с недостатком воспитанности.

В глубине души я тем не менее сохранял свои национальные чувства и веру в то, что развитие в близком будущем приведет нас к германскому единству; с моим другом, американцем Коффином я заключил пари, что эта цель будет достигнута не позже чем через двадцать лет. То, что я думал о внешней политике, было в духе освободительных войн, воспринятых под углом зрения прусского офицера.



Бисмарк в начале политической карьеры

В период, предшествовавший 1848 году, без связей в министерских и высших ведомственных кругах почти невозможно было рассчитывать на какое бы то ни было участие в прусской политике. Молодому чиновнику нужно было сначала пройти однообразный, измеряемый десятилетиями путь по ступеням бюрократической лестницы, пока, наконец, высшие инстанции могли обратить на него внимание и приблизить его к себе. Я же, насколько в моем возрасте вообще мог серьезно думать о служебной карьере, имел в виду дипломатическую деятельность. Для этого мне надо было выдержать прежде всего экзамен на правительственного асессора, а затем уже окольным путем, поработав в Таможенном союзе, искать доступа в дипломатию Пруссии.

Лица и порядки нашей юстиции, где началась моя деятельность, давали моему юношескому уму скорее критический, нежели назидательный материал. Практическое обучение начиналось с ведения протоколов уголовного суда. Советник фон-Браухич, к которому я был прикомандирован, поручал мне необычно много этой работы, так как я писал тогда исключительно быстро и четко.

Из «расследований», как назывались уголовные дела при тогдашнем порядке судопроизводства, на меня произвел особенно сильное впечатление процесс широко разветвленного в то время в Берлине общества приверженцев противоестественных пороков. Общество это имело сторонников и в высших кругах. Судебные акты, касавшиеся этого дела, были затребованы министерством юстиции, как говорили, по настоянию князя Витгенштейна и не были возвращены по крайней мере до тех пор, пока продолжалась моя деятельность в уголовном суде.

* * *

Проработав четыре месяца над составлением протоколов, я был переведен в городской суд, разбиравший гражданские дела, и сразу же оказался вынужденным перейти от механического писания под диктовку к самостоятельной работе, выполнение которой затруднялось моей неопытностью и моими чувствами. Бракоразводные дела были вообще в то время первой стадией самостоятельной работы юриста-новичка. Дела этим придавалось, очевидно, наименьшее значение. Они были поручены самому неспособному советнику по фамилии Преториус и велись при нем совсем зелеными юнцами, которые производили, таким образом, *in cogroge vilii* [на второстепенном материале] свои первые эксперименты в роли судей, правда, под номинальной ответственностью господина Преториуса, но обычно в его отсутствие. Для характеристики этого господина нам, молодым людям, рассказывали, что, когда его во время заседаний приходилось выводить из состояния легкой дремоты для подачи голоса, он имел обыкновение говорить: «Я присоединяюсь к мнению моего коллеги Темпельгофа»; иной раз при этом ему надо было указывать, что господин Темпельгоф на заседании не присутствует.

Однажды мне пришлось обратиться к нему, так как я оказался в затруднительном положении: мне, в мои двадцать лет и несколько месяцев, предстояло сделать попытку к примирению возбужденной супружеской четы. Задача эта представлялась моему восприятию в своего рода церковном и нравственном ореоле, которому, как мне казалось, не вполне соответствовало мое душевное состояние. Я застал Преториуса в дурном настроении не вовремя разбуженного пожилого человека, разделявшего к тому же довольно распространенное среди старых бюрократов нерасположение к молодым дворянам.

«Досадно, – сказал он мне с пренебрежительной усмешкой, – когда человек до такой степени беспомощен. Я покажу вам, как это делается».

Я вернулся с ним в комнату присутствия. Дело сводилось к тому, что муж хотел развода, а жена – нет, муж обвинял ее в нарушении супружеской верности, а она, заливаясь слезами, патетически клялась в своей невинности и, невзирая на дурное обращение мужа, настаивала на том, чтобы остаться при нем.

Шепелявя, как это было ему свойственно, Преториус обратился к жене со словами: «Не будь душой. Зачем тебе это? Придешь домой – муж избьет тебя так, что тебе не поздоровится. А скажи ты просто «да», и с пьяницей у тебя раз и навсегда покончено». – «Я честная женщина, не могу взять на себя позор, не хочу развода», – завопила женщина.

После неоднократного обмена репликами в том же тоне господин Преториус обратился ко мне со словами: «Она не хочет внять голосу благоразумия; пишите...», – и продиктовал мне заключение; оно произвело на меня столь сильное впечатление, что я и сейчас помню его от слова до слова: «После того как была сделана попытка к примирению сторон и все убеждения,

основанные на доводах нравственности и религии, остались безуспешными, было решено, как ниже следует».

Мой начальник поднялся со словами: «Запомните, как это делается, и впредь не беспокойте меня подобными вещами». Я проводил его до дверей и продолжал разбирательство.

Мой стаж по бракоразводным делам продолжался, сколько помнится, от четырех до шести недель, но мне уже не приходилось больше мирить стороны.

* * *

Более привлекательной была следующая стадия разбирательства мелких дел. Молодой, неопытный юрист приобретал здесь по крайней мере навык в приеме жалоб и опросе свидетелей, хотя в общем его больше использовали как подсобного работника и меньше занимались его обучением.

Помещение суда и судебное производство несколько напоминали суетливую обстановку у железнодорожной кассы. Пространство, где, спиной к публике, заседали председательствующий советник и три или четыре помощника, было обнесено деревянным барьером, и перед образовавшимся таким образом четырехугольником толпились стороны, сменяя друг друга и производя то больший, то меньший шум.

Мое общее впечатление от лиц и учреждений не изменилось существенным образом с моим переходом в административное ведомство. Стремясь сократить окольный путь к дипломатической карьере, я избрал одно из рейнских управлений, а именно, аахенское; курс работы в этом управлении мог быть сокращен до двух лет, тогда как в старых прусских провинциях на это требовалось не менее трех лет.

Личный состав управления не всегда отвечал тому несколько необоснованному идеалу, который витал передо мной, когда мне было 21 год; еще менее соответствовало ему содержание текущей работы. Мне вспоминается, что при частых разногласиях между чиновниками и населением или среди каждой из этих сторон – разногласиях, полемика вокруг которых длилась годами и нагромождала груды дел – я обычно оставался под впечатлением: «да, пожалуй, можно сделать и так»; вопросы, то или иное решение которых не стоило затраченной на них бумаги, вполне могли быть разрешены одним префектом при затрате вчетверо меньшего количества труда. Если не считать низшего служебного персонала, то при всем том работа, которую в течение дня должен был выполнить чиновник, была невелика, должности же начальников отделений были чистой синекурой.

Уезжая из Аахена, я составил себе невысокое мнение о нашей бюрократии в общем и об отдельных ее представителях в частности. Переменив впоследствии государственную службу на жизнь в деревне, я в своих взаимоотношениях помещика с властями сохранил, как мне теперь представляется, очень уж отрицательное мнение о достоинствах нашей бюрократии и, пожалуй, чрезмерную склонность критиковать ее.

Склонность к нелепому вмешательству в самые разнообразные стороны жизни проявлялась при тогдашнем патриархальном режиме, быть может, сильнее, чем в наше время; но те, кто осуществлял это вмешательство, были не столь многочисленны и стояли по уровню своего образования и воспитания выше части своих теперешних преемников.

Чиновники достославного королевского правительства были честными, образованными и благовоспитанными чиновниками. Но их благожелательная деятельность не всегда встречала признание, так как сопровождалась недостаточным знакомством с местными условиями и разменивалась на мелочи, относительно которых взгляды ученого горожанина за канцелярским столом не всегда выдерживали критику простого человеческого здравого смысла крестьянина. Членам административных коллегий приходилось тогда делать multa, а не multum [много, но незначительное]. Отсутствие более высоких задач приводило к тому, что они не находили себе

достаточного количества действительно нужной работы и в своем должностном рвении выходили далеко за пределы потребностей управляемых, впадая в манию регламентирования, в то, что швейцарцы называют «Befehlerle» [«повелительство»].

Если бросить для сравнения беглый взгляд в сторону современности, то придется отметить: в свое время надеялись, что после введения действующей ныне системы местного самоуправления государственные учреждения будут избавлены от излишка дел и чиновников. На самом деле получилось нечто прямо противоположное этому: количество чиновников и их загруженность делами значительно возросли в связи с увеличением переписки и возникновением трений между административными инстанциями и органами самоуправления, начиная от провинциального совета и кончая сельским общинным управлением.

Рано или поздно наступит критический момент, когда мы окажемся раздавленными под бременем писанины, а главное – низшей бюрократии.

* * *

Природе человека присуще свойство, в силу которого он, соприкасаясь с теми или другими порядками, склонен чувствовать и видеть прежде всего шипы, а не розы. Эти шипы вызывают раздражение против того, что в данное время существует. Старые правительственные чиновники, вступая в непосредственное соприкосновение с управляемым населением, проявляли педантизм и отчужденность от практической жизни благодаря своим занятиям за зеленым сукном. Но вместе с тем оставалось впечатление, что они искренно и добросовестно стремились быть справедливыми.

Этого нельзя сказать об отдельных звеньях современного местного самоуправления в тех частях страны, где партии резко противостоят друг другу; благосклонность к политическим единомышленникам и предубежденное отношение к противникам нередко препятствуют беспристрастной работе учреждений.

Сопоставляя на основании моего опыта, относящегося к тому времени и более позднему периоду, судебные решения с административными с точки зрения их беспристрастия, я не могу признать превосходство исключительно лишь за первыми, по крайней мере – не во всех случаях. У меня, наоборот, создалось впечатление, что судьи низших и местных инстанций легче и полнее поддаются сильному воздействию партийных течений, чем чиновники администрации; да и едва ли можно найти какое-либо психологическое основание к тому, чтобы при одинаковом образовании судей и чиновников последние а priori [заранее] должны были считаться менее справедливыми и добросовестными в своих должностных решениях, чем первые.

Но я согласен, что административные постановления отнюдь не выигрывают ни в смысле честности, ни в смысле своего соответствия существу дела от того, что они принимаются коллегиально; независимо от того, что при решении вопроса большинством голосов арифметика и случай заступают место логического обоснования; чувство личной ответственности – эта существенная гарантия добросовестности решения – утрачивается сразу же, когда что-либо решает анонимное большинство.

На поприще дипломатии. Крымская война. Союз с Австрией. План раздела России. «Завещание Петра Великого»

Ход дел в обеих коллегиях, как в Потсдаме, так и в Аахене, не мог возбудить во мне особого рвения. Я находил порученный мне круг занятий мелочным и скучным; воспоминания о моей работе по процессам о невзносе пошлин с помола и в связи с повинностью по постройке плотины в Роцисе, близ Вустергаузена, не вызывали во мне впоследствии желания возвратиться к моей тогдашней деятельности.

Отказавшись от честолюбивой мечты о чиновничьей карьере, я охотно последовал желанию моих родителей и занялся запутанными делами управления нашими померанскими имениями. Я рассчитывал жить и умереть в деревне, преуспев на поприще сельского хозяйства и, быть может, отличившись на войне, если бы она разразилась.

В течение ряда лет я занимался обустройством померанских имений, представляя в то же время интересы наших землевладельцев. Несколько раз я бывал в Берлине, выступая в ландстаге, особенно в период бурных событий 1848 года. Мои выступления были замечены в высших кругах власти, я имел беседы с королем и его министрами. Когда прусское правительство решилось послать своего представителя в Союзный сейм, посланником при сейме был временно назначен генерал Рохов, продолжавший оставаться в то же время аккредитованным в Петербурге. Одновременно в штат миссии были зачислены два советника: я и господин фон-Грунер. Перед моим назначением советником миссии его величество и министр фон-Мантейфель дали мне понять, что в ближайшем времени предполагается назначить меня посланником при сейме. Рохов должен был ввести меня в дела и подучить, но он неспособен был работать по деловому, меня же использовал как редактора и не держал *au fait* [в курсе] политических дел.

Предшествовавшая моему назначению беседа с королем происходила следующим образом. После того как на внезапный вопрос министра Мантейфеля, согласен ли я принять пост посланника при сейме, я коротко ответил «да», король вызвал меня к себе и сказал: «Вы очень смелы, сразу же соглашаясь принять совершенно не знакомую вам должность». «Ваше величество, – ответил я, – смелость проявляете вы, вверяя мне такой пост; впрочем, ничто не обязывает ваше величество оставить в силе назначение, если я не оправдаю вашего доверия. Сам я не могу с уверенностью сказать, по силам ли мне эта задача, пока не ознакомлюсь с ней ближе. Если я найду, что не дорос до нее, то сам же первый буду ходатайствовать о моем отозвании. Я имею смелость повиноваться, коль скоро ваше величество имеете смелость повелевать». «В таком случае попытаемся», – заключил король.

11 мая 1851 года я прибыл во Франкфурт. 15 июля последовало мое назначение посланником при Союзном сейме. Хотя с Роховым обошлись очень предупредительно, он был тем не менее расстроен и выместил на мне досаду: однажды утром он выехал из Франкфурта, не предупредив меня и не сдав мне ни дел, ни документов. Узнав стороной об его отъезде, я успел как раз вовремя явиться на вокзал, чтобы выразить ему благодарность за проявленное им доброжелательное отношение ко мне.

О моей деятельности и о моих наблюдениях в Союзном сейме опубликовано так много официального и частного материала, что я мало чего могу добавить.

* * *

Во Франкфурте, где ко времени Крымской войны все государства Германского союза пытались добиться того, чтобы Пруссия отстаивала их интересы от засилья Австрии и западных

держав, я в качестве представителя прусской политики не мог без стыда и огорчения видеть, как мы уступали австрийским притязаниям, предъявляемым даже в не особенно вежливой форме, и как мы приносили в жертву свою собственную политику и свое самостоятельное мнение, отступали шаг за шагом и, угнетаемые сознанием приниженности, боясь Франции и смиряясь перед Англией, искали спасения, тащась на буксире у Австрии. Королю не чужды были эти мои взгляды, но он не склонен был выйти из подобного положения, прибегнув к политике большого стиля.

Когда Англия и Франция объявили 28 марта 1854 года войну России, мы заключили с Австрией 20 апреля договор о наступательном и оборонительном союзе, коим Пруссия обязалась в случае надобности сконцентрировать в течение 36 дней 100 тысяч человек – одну треть в Восточной Пруссии, остальные две трети в Познани или под Бреславлем – и довести состав армии, если потребуют обстоятельства, до 200 тысяч человек, сговорившись обо всем этом с Австрией.

5 мая Мантейфель написал мне следующее раздраженное письмо:

«Генерал фон-Герлах только что сообщил мне, что его величество король повелел вашему высочородию присутствовать здесь на совещаниях в связи с обсуждением вопроса об австро-прусском союзе в Сейме и что господин генерал уже известил ваше высочородие об этом. В соответствии с этим высочайшим повелением, о котором мне до сих пор, впрочем, ничего не было известно, я позволяю себе покорнейше просить ваше высочородие немедленно прибыть сюда. Учитывая предстоящее в скором времени обсуждение вопроса в Союзном сейме, следует полагать, что ваше пребывание здесь не будет продолжительным».

При обсуждении договора от 20 апреля я рекомендовал королю воспользоваться случаем, чтобы вывести нас и прусскую политику из подчиненного и, как мне казалось, недостойного положения и занять позицию, которая обеспечила бы нам симпатии и руководящее положение среди немецких государств, желавших соблюдать вместе с нами и при нашей поддержке независимый нейтралитет. Я считал это достижимым, если мы, по предъявлении нам австрийского требования выставить войско, изъявим к этому полную дружественную готовность, но выставим свои 66 тысяч человек, а фактически и больше, не у Лиссы, а в Верхней Силезии, чтобы наша армия могла перейти одинаково легко как русскую, так и австрийскую границу, в особенности если мы не постесняемся и выставим негласно гораздо более 100 тысяч человек. Имея в своем распоряжении 200 тысяч человек, его величество был бы в тот момент господином всей европейской ситуации, мог бы продиктовать условия мира и занять в Германии положение, вполне достойное Пруссии.

Франция, занятая разрешением задач, стоявших перед нею в Крыму, была не в состоянии угрожать нашей западной границе. Армия, которой располагала Австрия, находилась в Восточной Галиции, где она теряла от болезней гораздо больше, нежели могла бы потерять на полях сражений. Эта армия была прикована расположенной в Польше русской армией, в которой, по крайней мере на бумаге, числилось 200 тысяч человек.

Если бы эта русская армия была переброшена в Крым, она приобрела бы решающее влияние на создавшуюся там ситуацию, но положение на австрийской границе не позволяло осуществить такой поход.

* * *

При прусском дворе тогда существовали большие разногласия. Антиавстрийская политика встречала со стороны Мантейфеля еще меньше сочувствия, чем со стороны короля. Когда мы обсуждали этот вопрос с моим начальником с глазу на глаз, он производил, правда, впечатление, что разделяет мое негодование по поводу обидного и пренебрежительного обращения с нами. Но когда ситуация требовала дела, когда нужно было совершить решительный дипло-

матический шаг в антиавстрийском духе или хотя бы только поддержать отношения с Россией, не предпринимая прямых враждебных выступлений против этого доселе дружественного нам соседа, дело обострялось и отношения между королем и министром-президентом доводили до кризиса кабинета.

Сам я уклонялся по мере возможности от ответственного поста при этом государе и всегда старался помирить его с Мантейфелем, к которому ездил с этой целью в его имение (Дрансдорф).

В такой ситуации при дворе определенную роль играла партия Бетман-Гольвега, объединившаяся вокруг «Прусского еженедельника», она вела странную двойную игру. Я вспоминаю, какими обширными записками обменивались эти господа. Порой они знакомили с содержанием записок и меня, надеясь привлечь на свою сторону. В качестве цели, к которой надлежало стремиться Пруссии как передовому борцу Европы, там намечалось: расчленение России, отторжение ее остзейских губерний, которые, включая Петербург, должны были отойти к Пруссии и Швеции, отделение всей территории Польской республики в самых обширных ее пределах, раздробление остальной части на Великороссию и Малороссию, хотя и без того едва ли не большинство малороссов оказывалось в пределах максимально расширенной территории Польской республики.

В оправдание этой программы ссылались преимущественно на теорию барона фон-Гакстгаузена-Аббенбург («Исследования внутренних отношений народной жизни и в особенности сельских учреждений в России»), который доказывал, что эти три области, взаимно дополняющие своей продукцией друг друга, обеспечат 100 миллионам русских, если они будут едины, преобладание над остальной Европой.



Бисмарк в зрелые годы

Из этой теории делали вывод о необходимости культивировать естественный союз с Англией, смутно намекая на то, что если Пруссия поможет ей своей армией против России, то и Англия со своей стороны поддержит прусскую политику в том направлении, которое тогда называлось «готским». Согласно категорическим предсказаниям этих господ, германское устройство, которое впоследствии было завоевано на поле брани армией короля Вильгельма, должно было быть добыто с помощью пресловутого общественного мнения английского народа то ли в союзе с принцем Альбертом, который давал королю и принцу Прусскому непрошенные

наставления, то ли в союзе с лордом Пальмерстоном, который в беседе с депутацией радикальных представителей городских предместий назвал в ноябре 1851 года Англию благоразумным секундантом (*judicious bottleholder*) всякого народа, борющегося за свою свободу, и по наущению которого памфлеты объявили позднее того же принца Альберта опаснейшим противником освободительных стремлений.

Никто не чувствовал – а менее всего сторонники подобных экспериментов – потребность продумать до конца вопрос о том, захочет ли Пальмерстон или какой-нибудь другой английский министр, идя рука об руку с либерализмом готского пошиба и с фрондой при прусском дворе, вызвать Европу на неравный бой и принести интересы Англии в жертву немецким объединительным стремлениям, а равно и другой вопрос – в состоянии ли это сделать Англия, не встретив поддержки других континентальных держав, при содействии одной только прусской политики. Фразой, готовностью одобрить ради партийных интересов всякую глупость – вот чем прикрывались все щели в шатком здании тогдашней закулисной западной политики двора.

Этими ребяческими утопиями тешились в партии Бетман-Гольвега люди, несомненно, умные, разыгрывая роль государственных мужей; они считали возможным рассматривать в своих планах будущей Европы 60 миллионов великороссов как *caput mortuum* [несуществующие]; они считали, что этот народ можно как угодно третировать, не превращая его тем самым неизбежно в союзника всякого будущего врага Пруссии, что вынудило бы Пруссию при всякой войне с Францией прикрывать свой тыл от Польши, ибо невозможно такое решение в провинциях Пруссии, Познани и даже Силезии, которое удовлетворило бы Польшу, не нарушив целостности самой Пруссии. Эти политики не только сами мнили себя в то время мудрецами – их премудрость превозносила и либеральная пресса.

Из творений «Прусского еженедельника» мне запомнилась памятная записка, составленная якобы при русском императоре Николае в министерстве иностранных дел в Петербурге в качестве руководства для наследника престола; в этой записке были изложены, в применении к современности, основные черты русской политики, намеченные в подложном завещании Петра Великого, сфабрикованном примерно в 1810 году в Париже.

Записка изображала Россию, ведущую подрывную работу против всех государств с целью добиться мирового господства. Впоследствии мне сообщали, что это произведение, попавшее в заграничную, а именно в английскую, печать, было доставлено Константином Францом.

* * *

В апреле 1854 года Бунзен, посланник в Лондоне, имел неосторожность послать министру Мантейфелю пространную записку, в которой выдвигались требования восстановления Польши, расширения Австрии вплоть до Крыма и т. п. и в которой рекомендовалось, чтобы Пруссия содействовала осуществлению этой программы. Одновременно Бунзен сообщил в Берлин, что английское правительство не возражает против присоединения приэльбских герцогств к Пруссии, если последняя примкнет к западным державам; в Лондоне же он дал понять, что прусское правительство согласно на это при условии означенной компенсации. Оба эти заявления были сделаны Бунзеном без всяких на то полномочий.

Король, когда это дошло до него, нашел, при всей своей любви к Бунзену, что дело зашло уж слишком далеко, и через Мантейфеля приказал Бунзену уйти в долгосрочный отпуск, закончившийся отставкой.

Однако принц Альберт объяснял отставку Бунзена «русской интригой» и мне было непонятно, каким образом антирусской партии удалось заручиться сочувствием принца враждебному России повороту. Это выяснилось из беседы, которую я имел с принцем, когда король вызвал меня в Берлин. Тотчас по приезде я был вызван к принцу Альберту, который под влиянием

янием своего окружения был в возбужденном состоянии и выразил пожелание, чтобы я воздействовал на короля в антирусском и западническом духе.

Он сказал мне: «Вы увидите тут два враждебных течения, из коих одно представлено Мантейфелем, а другое, дружественное России, – Герлахом и графом Мюнстером в Петербурге. Вы здесь свежий человек; король призывает вас в качестве своего рода арбитра. Ваше мнение будет поэтому решающим, и я заклинаю вас, выскажитесь так, как того требуют не только европейская ситуация, но и истинные интересы дружбы к России. Она восстановила против себя всю Европу и будет в конце концов побеждена. Все эти великолепные войска, – говорилось это после неудачного для русских исхода боев под Севастополем, – все наши друзья, погибшие там, – он назвал ряд имен, – были бы еще в живых, если бы мы должным образом вмешались и вынудили Россию к миру». Дело кончится тем, указывал он, что Россия, наш старинный друг и союзник, будет уничтожена или серьезно ослаблена. Задача, возложенная на нас провидением, заключается в том, чтобы продиктовать мир и спасти нашего друга хотя бы против его воли.

Желая избавить принца от этих навязанных ему идей, я стал доказывать, что мы сами не имеем абсолютно никакой причины воевать с Россией и что у нас нет в восточном вопросе никаких интересов, которые оправдывали бы такую войну или хотя бы необходимость принести в жертву наши давние дружеские отношения к России. Наоборот, всякая победоносная война против России при нашем – ее соседа – участии вызовет не только постоянное стремление к реваншу со стороны России за нападение на нее без нашего собственного основания к войне, но одновременно поставит перед нами и весьма рискованную задачу, а именно – решение польского вопроса в сколько-нибудь приемлемой для Пруссии форме. А раз наши собственные интересы не только отнюдь *не требуют* разрыва с Россией, но скорее даже говорят *против* этого, то, напав на постоянного соседа, до сих пор являющегося нашим другом, не будучи к тому спровоцированы, мы сделаем это либо из страха перед Францией, либо в угоду Англии и Австрии. Мы взяли бы на себя роль индийского вассального князя, который обязан вести под английским патронатом английские войны.

Принца оскорбило употребленное мною выражение; покраснев от гнева, он прервал меня словами: «О вассалах и страхе не может быть и речи». Тем не менее я понял, что мне не удалось поколебать его убеждения.

* * *

Еще сильнее политических доводов бетман-гольвегской клики было влияние на принца его супруги в духе преклонения перед западными державами, вызывавшее у него своего рода оппозицию к брату, чуждую по существу его инстинктам военного.

Принцесса Августа с юных лет, проведенных ею в Веймаре, и до конца жизни сохранила убеждение, что выдающиеся личности и авторитеты Франции, а тем более Англии, выше наших, немецких. В этом она была чистокровной немкой с присущим нам национальным свойством, наиболее резко выраженным в поговорке «Das ist nicht weit her, taugt also nichts» [«Что свое, то гнило»].

Несмотря на Гете, Шиллера и другие великие тени Елисейских полей Веймара, эта выдающаяся по своему духовному уровню резиденция не была свободна от предрассудка, тяготеющего до сих пор над нашим национальным чувством, будто любой француз и уж во всяком случае англичанин в силу своего происхождения и своей национальной принадлежности – существо высшего порядка по сравнению с немцем и будто похвала со стороны общественного мнения Парижа и Лондона – более убедительное доказательство наших достоинств, нежели наше собственное самосознание.

Августа при всей своей духовной одаренности, при том признании, каким она пользовалась у нас за проникнутую чувством долга деятельность на различных поприщах, никогда не могла вполне отрешиться от этого предрассудка; ей импонировал развязный француз с его бойкой французской речью, а любой англичанин мог, как правило, рассчитывать, что с ним обойдутся в Германии как со знатной особой, поскольку не доказано противное. Так повелось в Веймаре лет 70 тому назад, и с отголоском этого мне довольно часто приходилось сталкиваться в моей служебной деятельности. В то время, о котором идет речь, хлопоты принцессы Прусской об английском браке ее сына, вероятно, еще более укрепляли ее во взглядах, которые Гольц и его друзья старались навязать ее супругу.

Во время Крымской войны обнаружилась антипатия принцессы ко всему русскому, укоренившаяся в ней с детства, но ранее внешне не проявлявшаяся. На балах при дворе Фридриха-Вильгельма III, где я впервые увидел ее – молодую и красивую женщину, она при выборе кавалеров во время танцев отдавала обычно предпочтение дипломатам, не исключая и русских, причем заставляла пробовать свою ловкость на скользком паркете даже тех из них, кто был искуснее в беседе, нежели в танцах. Ту явную и сильную антипатию к России, которую она выказывала впоследствии, психологически не легко объяснить.

Воспоминание об убийстве ее деда, императора Павла Первого, едва ли могло бы иметь столь длительное влияние. Это было скорее следствием разлада между высоко одаренной, русской по своему общественному и политическому облику, матерью, великой герцогиней Веймарской, окруженной приезжими русскими, и взрослой дочерью, склонной при ее живом темпераменте играть первую роль в своем кругу; возможна и своего рода идиосинкразия по отношению к властной личности императора Николая.

Несомненно одно: антирусское влияние этой высочайшей особы и впоследствии, когда она была королевой и императрицей, нередко препятствовало мне у его величества при проведении той политики, которую я считал необходимой.

Николай I и его окружение. Князь Горчаков. Русские обычаи. Посещение Москвы

В истории европейских государств едва ли известен другой пример, когда неограниченный монарх великой державы оказал своему соседу такую услугу, как император Николай – Австрийской монархии. При том опасном положении, в каком она находилась в 1849 году, он пришел ей на помощь 150-тысячным войском, усмирил Венгрию, восстановил там королевскую власть и отозвал свои войска, не потребовав за это никаких выгод, никаких возмещений, не упомянув о спорных между обоими государствами восточном и польском вопросах. Если даже им руководила не дружба, а соображения, [диктовавшиеся] императорской русской политикой, все же это было более того, что обычно делает один монарх для другого монарха; лишь такой самовластный, преувеличенно рыцарственный самодержец был способен на это.

Николай смотрел в то время на императора Франца-Иосифа как на своего преемника и наследника в руководстве консервативной триадой. Он считал последнюю солидарной перед лицом революции и, озабоченный поддержанием ее гегемонии, уповал больше на Франца-Иосифа, чем на своего собственного наследника. Еще более низкого мнения был он о способности нашего короля Фридриха-Вильгельма взять на себя роль вождя на поприще практической политики и считал, что он, так же, как и его собственный сын и наследник, не может руководить монархической триадой.

В Венгрии император Николай действовал в убеждении, что волею божиею он призван возглавить монархическое сопротивление надвигающейся с Запада революции. По природе он был идеалистом, хотя изолированность русского самодержавия и придавала ему черствость, и надо лишь удивляться, как при всех испытанных им впечатлениях, начиная с декабристов, он сумел пронести через всю жизнь свойственный ему идеалистический порыв.

Как он понимал свои отношения с собственными подданными, явствует из одного факта, о котором рассказал мне сам Фридрих-Вильгельм IV. Император Николай попросил его прислать двух унтер-офицеров прусской гвардии для предписанного врачами массажа спины, во время которого пациенту надлежало лежать на животе. При этом он сказал: «С моими русскими я всегда справлюсь, лишь бы я мог смотреть им в лицо, но со спины, где глаз нет, я предпочел бы все же не подпускать их». Унтер-офицеры были предоставлены без огласки этого факта, использованы по назначению и щедро вознаграждены. Это показывает, что, несмотря на религиозную преданность русского народа своему царю, император Николай не был уверен в своей безопасности с глазу на глаз даже с простолюдином из числа своих подданных; проявлением большой силы характера было то, что он до конца своих дней не дал этим переживаниям сломить себя.

* * *

В мое время в петербургском обществе можно было наблюдать три поколения. Самое знатное из них – европейски и классически образованные *grands seigneurs* [вельможи] времен Александра I – вымирало. К нему можно было еще отнести Меншикова, Воронцова, Блудова, Нессельроде, а по уму и образованию также и Горчакова, несколько уступавшего названным лицам вследствие своего непомерного тщеславия. Все они получили классическое образование, говорили совершенно свободно не только по-французски, но и по-немецки и принадлежали к сгеме [сливкам] европейского общества.

Второе поколение было одних лет с императором Николаем или во всяком случае отмечено его печатью и ограничивалось в своих разговорах преимущественно придворными новостями, театром, повышениями, награждениями и чисто военными интересами.

В качестве исключения из этой категории, приближавшейся по своему духовному облику к старшему поколению, могут быть названы старик князь Орлов, который выделялся своим характером, изысканной учтивостью и безупречным отношением к нам; граф Адлерберг и его сын, впоследствии министр двора, наряду с Петром Шуваловым, самая светлая голова из тех, с кем мне приходилось там встречаться, человек, которому не доставало только трудолюбия, чтобы играть руководящую роль; более всех других симпатизировавший нам, немцам, князь Суворов, в котором традиции русского генерала николаевских времен сочетались в резком, но не неприятном контрасте с чертами немецкого бурша, реминисценцией немецких университетов; железнодорожный генерал Чевкин, человек в высшей степени тонкого и острого ума, каким нередко отличаются горбатые люди, обладающие своеобразным умным строением черепа; он вечно ссорился и все же был в дружбе с князем Суворовым; и, наконец, барон Петр фон-Мейендорф, самое симпатичное, с моей точки зрения, явление среди дипломатов старшего поколения. Он был в свое время посланником в Берлине и по образованию и утонченным манерам принадлежал скорее александровскому времени.

Гостеприимный дом Мейендорфа как в Берлине, так и в Петербурге был местом, куда приятно было прийти, чему немало способствовала его супруга, по-мужски умная женщина, благородная, глубоко порядочная, приветливая, еще более ярко, чем ее сестра, госпожа фон-Фринтс во Франкфурте, подтверждавшая ту истину, что в семье графов Буоль наследственный ум был геном, передававшимся по женской линии.

Ее брат, австрийский министр граф Буоль, не унаследовал той его доли, без которой нельзя руководить политикой великой монархии. Лично брат и сестра были друг другу несколько не ближе, чем австрийская и русская политика.

Когда я в 1852 году был послан с чрезвычайной миссией в Вену, отношения между ними были еще таковы, что госпожа Мейендорф склонна была облегчить осуществление моей, дружественной Австрии, миссии: несомненно, она руководилась инструкциями супруга. Император Николай желал в то время нашего соглашения с Австрией.

Когда же год или два спустя, во время Крымской войны, зашла речь о моем назначении в Вену, отношение госпожи Мейендорф к брату выразилось в следующих словах: она надеется, что я приеду в Вену и «довежу Карла до желчной лихорадки».

Как жена своего мужа госпожа Мейендорф была русской патриоткой, но и без того она и по своему личному побуждению не одобрила бы враждебной и неблагодарной политики, на путь которой граф Буоль толкал Австрию.

* * *

Третье, молодое, поколение русских обнаруживало обычно в обществе меньшую учтивость, подчас дурные манеры и, как правило, большую антипатию к немецким, в особенности же к прусским, элементам, нежели оба старших поколения. Когда по незнанию русского языка к этим господам обращались по-немецки, они были непрочь скрыть, что понимают язык, отвечали нелюбезно или вовсе отмалчивались и в своем отношении к штатским далеко не соблюдали того уровня учтивости, какой был принят в кругу лиц, носивших мундиры и ордена.

Антинемецкие настроения молодого поколения дали знать о себе вскоре не только мне, но и другим лицам также и в области политических отношений с нами, особенно сильно с тех пор, как мой русский коллега князь Горчаков стал проявлять и по отношению ко мне одолевавшее его высокомерие. Пока, претендуя на участие в моем политическом воспитании, он видел во мне только младшего сотоварища, благоволение его было безгранично, причем формы, в

которые выливалось его доверие, выходили за пределы, допустимые для дипломата; возможно, он делал это с предвзятой целью, а возможно – из потребности покичиться перед коллегой, сумевшим убедить его в своем преклонении перед ним.

Подобные отношения стали уже немыслимы, едва я в качестве прусского министра принужден был рассеять иллюзии, которые он питал насчет своего личного и политического превосходства. *Nînc îrae* [отсюда гнев]. Едва я как немец или пруссак или как соперник начал выдвигаться на самостоятельное [место] в признании Европы и в исторической публицистике, как его благоволение ко мне превратилось в неприязнь.

Наступила ли эта перемена после 1870 года или я ее ранее не замечал – не берусь судить. В первом случае это можно объяснить достаточно уважительной причиной и вполне основательным для русского канцлера мотивом, а именно – ошибочным расчетом, что разлад между нами и Австрией и после 1866 года надолго останется в силе.

В 1870 году мы с готовностью поддерживали русскую политику, помогая ей освободиться от ограничений на Черном море, которые наложил на нее Парижский трактат, подписанный после Крымской войны. Эти ограничения были противоестественны; запрет свободного плаванья у своих собственных берегов был на длительный срок нетерпим для такой державы, как Россия, ибо он был унижителен.

К тому же – как прежде, так и теперь – не в наших интересах препятствовать России расходовать избыток своих сил на Востоке; мы должны радоваться, когда при нашем положении и историческом развитии мы встречаем в Европе державы, с которыми у нас нет никаких конкурирующих интересов в политической области, и к таким державам по сей день относится Россия.

С Францией мы никогда не будем жить в мире, с Россией у нас никогда не будет необходимости воевать, если только либеральные глупости или династические промахи не извратят положения.

* * *

В Петербурге по распоряжению полиции слуги представителей иностранных правительств носили галуны и особо присвоенные им ливреи, и это было вполне целесообразно. Иначе члены дипломатического корпуса, не имея обыкновения носить на улице мундир и ордена, рисковали такими же, порой крупными, неприятностями с полицией и лицами из высшего общества, каким зачастую подвергались на улице или на пароходе штатские, если они не имели ордена или не были известны как знатные лица.

В Париже при Наполеоне III я наблюдал то же самое. На одном из парижских бульваров мне во время какого-то празднества пришлось быть свидетелем такой сцены: толпа в несколько сот человек оказалась не в состоянии двинуться ни назад, ни вперед, попав из-за чьей-то нераспорядительности между двумя отрядами войск, маршировавшими в противоположном один другому направлении; полиция, не понимая причины затора, набросилась на толпу, пуская в ход кулаки и столь излюбленные в Париже *coups de pied* [пинки ногой], пока не оказалась лицом к лицу с каким-то *monsieur decore* [господином с орденом]. Красненькая ленточка побудила полицейских по крайней мере выслушать протесты ее обладателя и заставила их, наконец, убедиться, что толпа, которая казалась им строптивой, была зажата между двумя отрядами войск и не могла поэтому никуда податься. Начальник возбужденных полицейских вышел из затруднительного положения с помощью шутки: указывая на отряд *chasseurs de Vincennes* [венсенских стрелков], которые дефилировали *d'un pas gymnastique* [беглым шагом] и сперва не были им замечены, он сказал: «*Eh bien, il faut enfoncer ça*» [«Ну что ж, придется обратить их в бегство»]. Публика, не исключая избитых, расхохоталась; все, кто избежал рукоприкладства, разошлись с признательным чувством к *decore*, который спас их своим присутствием.



Мемориальная доска на доме, где жил Бисмарк в Петербурге

И в Петербурге я рекомендовал бы появляться на улице не иначе, как со знаками одного из высших русских орденов, если бы тамошние расстояния не заставляли обычно пользоваться каретой, а не ходить пешком. Даже при езде верхом, но в штатском платье и без конюха не всегда можно было избежать опасности оказаться жертвой невозддержанного языка или неосторожной езды отличавшихся своей особой одеждой кучеров видных сановников; кто свободно владел конем и имел при себе хлыст, тот поступал правильно, когда добивался при таких конфликтах признания законности своего равноправия с хозяином кареты.

Едва ли не большинство немногочисленных всадников в окрестностях Петербурга составляли немецкие или английские купцы, избегавшие в силу своего положения неприятных столкновений и предпочитавшие снести обиду, но не обращаться с жалобой к властям. Из офицеров лишь весьма немногие пользовались прекрасными дорогами для верховой езды на островах или в ближайших окрестностях столицы, да и те были, как правило, немецкого происхождения. Все старания высших сфер приохотить офицеров к верховой езде не имели прочного успеха и приводили лишь к тому, что в течение нескольких дней после каждого напоямина на встречу императорским каретам попадалось больше всадников, чем обычно. Знаменательно, что лучшими наездниками среди военных слыли два адмирала: великий князь Константин и князь Меншиков.

Помимо искусства верховой езды, тогдашнее молодое поколение уступало предшествующему поколению современников императора Николая I также в отношении манер и хорошего тона; в смысле же европейского образования и общего уровня своего воспитания представители обоих этих поколений уступали старым вельможам времен Александра I. Но все же в придворных кругах и в так называемом «обществе», а также в тех аристократических домах, где преобладало влияние дам, поддерживался безукоризненный светский тон. Однако молодые люди проявляли далеко уже не ту учтивость, когда с ними приходилось сталкиваться при таких обстоятельствах, где они были вне влияния и контроля придворной сферы и дам из высшего круга.

Не берусь судить, в какой мере то, что мне пришлось наблюдать, объяснялось общественной реакцией со стороны молодого поколения против довольно сильного прежде немецкого влияния и в какой – упадком образования в русском обществе по сравнению с эпохой императора Александра I; возможно, здесь сказывалось и социальное развитие парижского общества, которое оказывает свое воздействие на русский высший свет. Хорошие манеры и безупречная учтивость уже не так распространены в господствующих кругах Франции, за пределами Сен-Жерменского предместья, как это было раньше и как я наблюдал это при знакомстве с пожилыми французами и дамами всех возрастов во французском, а в еще более выигрышном свете – в русском обществе.

Впрочем, так как мне по моему положению в Петербурге не приходилось особенно близко сталкиваться с младшим поколением, я вынес из моего пребывания в России лишь приятные воспоминания, которыми обязан любезности двора, пожилых мужчин и дам светского круга.

* * *

Всякий раз, как мне случалось бывать в Петербурге в одном из императорских дворцов – Царскосельском или Петергофском, хотя бы для того лишь, чтобы посоветоваться с жившим там летом князем Горчаковым, я находил в отведенном мне дворцовом помещении сервированный для меня и для того, кто сопровождал меня, завтрак из нескольких блюд, с тремя-четырьмя сортами превосходного вина; иных мне на императорском столе вообще никогда не приходилось пить. Несомненно, в дворцовом хозяйстве много крали, но гости императора от этого не страдали; напротив, их порции были рассчитаны на обильные остатки в пользу слуг.

Погреб и кухня были совершенно безупречны, даже в тех случаях, когда они были вне контроля. Возможно, что дворцовые служащие, пользовавшиеся невыпитыми винами, успели, в результате долголетнего опыта, приобрести изысканный вкус и не потерпели бы непорядков, от которых пострадало бы качество подававшегося к столу. Цены на поставки, судя по всему, что я узнавал, были, правда, очень высоки.

Правильное представление о характере дворцового гостеприимства я получил тогда, когда моя покровительница, вдовствующая императрица Шарлотта, сестра нашего короля, пригласила меня к себе. Для приглашенных со мной лиц из состава миссии на императорской кухне заказывалось два обеда, а для меня – три. В отведенной мне квартире продолжали готовить и ставить в счет, а также, должно быть, поесть и выпивать завтраки и обеды для меня и моих спутников, словно ни меня, ни их и не приглашали к императрице.

Мой прибор, со всем к нему причитающимся, подавался и убирался, во-первых, в отведенной мне квартире, а во-вторых, к столу императрицы вместе с приборами моих спутников; но и там я не притрагивался к нему, так как мне приходилось кушать без моих спутников у постели больной императрицы в узком кругу. В этих случаях роль хозяйки дома вместо своей бабушки выполняла с присущей ей грацией и оживлением принцесса Лейхтенбергская, впоследствии супруга принца Вильгельма Баденского, переживавшая в ту пору расцвет своей юной красоты.

Припоминаю также, как в другом случае четырехлетняя великая княжна, бегая вокруг стола, за которым сидело четыре персоны, ни за что не желала оказать одному высокопоставленному генералу ту же учтивость, что и мне. Я был очень польщен, что на замечание бабушки великокняжеское дитя ответило, указав на меня: «он милый» («он milii»), а, указывая на генерала, имело наивность сказать: «он воняет» («он wonjaet»), – после чего великокняжеский enfant terrible [несносный ребенок] был удален.

Был такой случай, когда прусских офицеров, долго живших в одном из императорских дворцов, откровенно спросили их русские добрые приятели – действительно ли они поглощают

столько вина и прочего, сколько на них требуют; если так, то остается позавидовать их способностям и озаботиться их дальнейшим удовлетворением. Оказалось, что люди, к которым был обращен откровенный вопрос, отличались умеренностью; с их согласия обыскали занимаемые ими апартаменты и обнаружили в стенных шкафах, о которых они не знали, большие запасы ценных вин и разных деликатесов.

Рассказывают, что однажды император обратил внимание на непомерное количество сала, которое ставится в счет всякий раз, как приезжает принц Прусский; в результате выяснилось, что при первом своем посещении принц после прогулки верхом пожелал съесть к ужину ломтик сала. Истребованный ломтик сала превратился при последующих посещениях в пуды. Недоразумение разъяснилось в личной беседе высочайших особ и вызвало взрыв веселья, послуживший на пользу замешанным в этом деле грешникам.

С другой русской особенностью я столкнулся во время моего первого пребывания в Петербурге в 1859 году. В первые весенние дни принадлежавшее ко двору общество гуляло по Летнему саду, между Павловским дворцом и Невой. Императору бросилось в глаза, что посреди одной из лужаек стоит часовая. На вопрос, почему он тут стоит, солдат мог ответить лишь, что «так приказано»; император поручил своему адъютанту осведомиться на гауптвахте, но и там не могли дать другого ответа, кроме того, что в этот караул зимой и летом отряжают часового, а по чьему первоначальному приказу – установить нельзя.

Тема эта стала при дворе злободневной, и разговоры о ней дошли до слуг. Среди них оказался старик-лакей, состоявший уже на пенсии, который сообщил, что его отец, проходя с ним как-то по Летнему саду мимо караульного, сказал: «А часовая все стоит и караулит цвeток. Императрица Екатерина увидела как-то на этом месте гораздо раньше, чем обычно, первый подснежник и приказала следить, чтобы его не сорвали». Исполняя приказ, тут поставили часового, и с тех пор он стоит из года в год.

Подобные факты вызывают у нас порицание и насмешку, но в них находят свое выражение примитивная мощь, устойчивость и постоянство, на которых зиждется сила того, что составляет сущность России в противовес остальной Европе. Невольно вспоминаешь в этой связи часовых, которые в Петербурге во время наводнения 1824 года и на Шипке в 1877 году не были сняты, и одни утонули, а другие замерзли на своем посту.

* * *

Я верил, что, будучи посланником в Петербурге, смогу оказывать влияние на принимаемые в Берлине решения, как пытался с переменным успехом делать это, находясь во Франкфурте; я еще не отдавал себе тогда ясного отчета в том, что огромные усилия, которые затрачивались мной с этой целью при составлении донесений, не могли принести ни малейшей пользы, так как и мои всеподданнейшие донесения, и сообщения, которые посылались мной в виде собственноручных писем, либо вовсе не доходили до сведения регента, либо доходили с такими комментариями, которые мешали им оказывать какое бы то ни было влияние.

Помимо осложнившейся болезни, которой я был обязан отравившему меня врачу, мои труды имели лишь тот результат, что показалась подозрительной [необычайная] точность моих сообщений о настроениях императора и для контроля за мной был послан граф Мюнстер, прежний военный атташе в Петербурге. Я был в состоянии доказать инспектировавшему меня графу, с которым был в дружеских отношениях, что мои донесения основаны на собственноручных пометах императора на полях донесений русских дипломатов, которые показывал мне князь Горчаков, а кроме того, – на словесных сообщениях личных друзей, которые оказались у меня в кабинете и при дворе. Собственноручные пометы императора предъявлялись мне, возможно, с рассчитанной нескромностью, т. е. с тем, чтобы их содержание дошло до Берлина таким, менее обидным путем.

Эти и другие формы, в которых мне становились известными особо важные сообщения, являются характерными шахматными ходами тогдашней политической [практики]. Один господин, доверивший мне подобное сообщение, уходя, обернулся в дверях и сказал: «Моя первая нескромность вынуждает меня ко второй. Вы, наверно, передадите это в Берлин, не пользуйтесь только для этого вашим шифром номер такой-то, мы уже много лет имеем к нему ключ, а по совокупности обстоятельств у нас заключили бы, что источником являюсь я. Кроме того, сделайте мне одолжение, не отказывайтесь сразу от скомпрометированного шифра, пользуйтесь им еще в течение нескольких месяцев для самых безобидных телеграмм».

Из этого эпизода я, к своему успокоению, позволил себе тогда сделать заключение, что русским известен, вероятно, лишь один из наших шифров. Сохранить тайну шифра было в Петербурге особенно трудно, так как ни одна миссия не могла обойтись там без того, чтобы не допускать в свое помещение русский низший персонал и прислугу, и из этой среды тайной полиции не трудно было вербовать своих агентов.

Во время австро-французской войны император Александр жаловался мне однажды в откровенной беседе на резкий и оскорбительный тон, в каком немецкие государи критиковали русскую политику в письмах к членам императорской фамилии. «Во всем этом обижает меня более всего то, что мои немецкие кузены посылают свои дерзости по почте, чтобы они вернее дошли до моего сведения», – с возмущением заключил он свою жалобу на родственников. Он не видел ничего предосудительного в этом признании, будучи искренно убежден, что его право монарха – знакомиться даже и таким путем с содержанием корреспонденции, посылаемой по русской почте.

В Вене были прежде подобные же порядки. Еще до постройки железных дорог было время, когда тотчас по переезде прусским курьером австрийской границы к нему в экипаж садился австрийский чиновник и при его содействии, с ловкостью привычного человека вскрывал депеши, снова заклеивал их и делал из них выписки, прежде нежели они достигали венской миссии. Даже после того, как такая практика вывелась, одной из осторожных форм официального сообщения [берлинского] кабинета кабинетам Вены или Петербурга все еще считалось письмо на имя тамошних прусских посланников, отправленное простой почтой.

Обе стороны заранее рассматривали содержание этих писем как инсинуированное и пользовались такой формой инсинуации в тех случаях, когда надлежало ослабить действие неприятного сообщения, дабы не испортить тона формальных отношений.

* * *

В первой половине июня 1859 года, во время австро-итальянской войны, я на короткое время съездил в Москву. При этом посещении древней столицы я получил возможность убедиться, как велика была ненависть русских к Австрии. В то время как московский губернатор князь Долгорукий водил меня по одной библиотеке, я увидел на груди служителя в числе многих военных орденов также и Железный крест. На мой вопрос, по какому случаю он получил его, служитель отвечал: «За битву при Кульме». После этой битвы Фридрих-Вильгельм III приказал раздать русским солдатам довольно большое число железных крестов несколько измененного образца, который был назван Кульмским крестом.

Я поздравил старого солдата с тем, что у него и через 46 лет такой бодрый вид, и услышал в ответ, что он и сейчас пошел бы на войну, лишь бы позволил государь. Я спросил его, с кем бы он пошел – с Италией или с Австрией, на что он, вытянувшись в струнку, с энтузиазмом заявил: «Всегда против Австрии». Я заметил, что ведь при Кульме Австрия была другом Пруссии и России, а Италия – нашим врагом, на что он, стоя все так же на вытяжку, сказал громко и отчетливо, как русские солдаты говорят с офицерами: «Честный враг лучше неверного друга».

Этот невозмутимый ответ привел князя Долгорукого в такой восторг, что не успел я оглянуться, как генерал и унтер-офицер заключили друг друга в объятия и горячо облобызались. Таково было в ту пору противоавстрийское настроение среди русских – от генерала до унтер-офицера. Воспоминанием о моей поездке в Москву служат следующие письма, которыми я обменялся с князем Оболенским.

«Москва, 2 июня 1859 года.

Осматривая недавно московские древности, ваше превосходительство проявили особый интерес к памятникам нашей древней политической и духовной жизни. Старинные здания Кремля, домашняя утварь русских царей, драгоценные греческие рукописи патриаршей библиотеки – все это привлекло ваше просвещенное внимание. Компетентные замечания, сделанные вашим превосходительством по поводу этих исторических памятников, свидетельствуют о том, что, помимо больших познаний дипломата, вы обладаете столь же глубокими сведениями и в области археологии. Подобное внимание к нашим древним памятникам со стороны иностранца вдвойне отрадно мне – как русскому и как человеку, посвящающему свои досуги археологии.

Позвольте поднести вашему превосходительству в память вашего кратковременного пребывания в Москве и моего приятного знакомства с вами, удостоиться которого я имел честь, экземпляр «Книги, содержащей описание избрания на царство и вступления на престол царя Михаила Федоровича». На рисунках, хотя и мало искусных, но интересных своей древностью, вы увидите изображение тех же зданий и предметов, которые так заинтересовали вас в Кремле.

Примите и пр. *Кн. М. Оболенский*».

«Петербург (июль 1859 года)

Я проявил бы крайнюю неблагодарность, если бы после любезного приема, оказанного мне вами в Москве, я без особо уважительных причин целый месяц не отвечал вашему превосходительству на письмо, которым вы меня удостоили. Вернувшись из Москвы, я серьезно заболел чем-то вроде подагры; сильные ревматические боли пригвоздили меня на целый месяц к постели; редкие просветы, которые оставляла мне болезнь, были поглощены текущими делами, запущенными во время моей болезни. Еще и сейчас я не в состоянии ходить, хотя в общем чувствую себя лучше, так что постараюсь исполнить предписание моего правительства, которое вызывает меня в Берлин. Простите меня за эти подробности, князь, но они были необходимы, чтобы объяснить мое молчание.

Я надеялся, что это промедление даст мне возможность присоединить к моему письму также и ответ из Берлина по поводу посылки, которую вам угодно было вручить мне для передачи его королевскому величеству. Я еще не получил его, но не могу уехать отсюда, не высказав вам, князь, как я тронут любезностью и редким достоинством приема, какой вы оказываете во вверенном вам учреждении и в столице, где вы проживаете, являя иностранцу пример истинно русского гостеприимства. Роскошная книга, присланная вами, навсегда останется драгоценным украшением моей библиотеки; с нею неизменно будет связано воспоминание о русском дворянине, который так умело сочетает репутацию ученого с достоинствами истинного вельможи.

Примите и пр. *Фон-Бисмарк*».

* * *

В июне 1859 года, не успев еще свыкнуться с петербургским климатом, я после продолжительной езды в сильно натопленном манеже отправился однажды домой без шубы и еще задержался по дороге, чтобы посмотреть на учение рекрутов. На следующий день у меня обна-

ружился суставный ревматизм, с которым мне пришлось долго бороться. Однако я успел оправиться к тому времени, когда мне надо было съездить в Германию, чтобы привезти в Петербург жену; я ощущал только незначительную боль в левой ноге, которую повредил, сорвавшись со скалы на охоте в Швеции в 1857 году, и которая из-за недостаточного ухода осталась *locus minoris resistentiae* [местом наименьшего сопротивления].

Доктор Вальц, рекомендованный мне перед отъездом бывшей великой герцогиней Баденской, предложил мне прописать против этой боли какое-то средство, а когда я возразил ему, что не чувствую в этом надобности, так как боль в ноге незначительная, он стал убеждать меня, что она может усилиться в дороге и лучше принять предупредительные меры, средство же – самое невинное: приложить на подколенную ямку пластырь, который не будет причинять никакого беспокойства, полежит несколько дней и сам отвалится, оставив только незначительную красноту.

Ничего не зная о прежней деятельности этого врача, происходившего из Гейдельберга, я имел неосторожность поддаться его уговору. Через четыре часа после того, как я приложил этот пластырь и крепко уснул, меня разбудила сильная боль, я поспешно сорвал пластырь, но не мог удалить его остатки с уже растравленной подколенной ямки. Несколько часов спустя приехал Вальц и каким-то металлическим инструментом попытался выскрести черную липкую массу из раны величиной с ладонь. Боль была нестерпимая, а результат – далеко не вполне удовлетворительный, ибо разъедающее действие яда не прекратилось. Несмотря на высокую рекомендацию, которой я доверился, мне пришлось убедиться в крайней невежественности и недобросовестности доктора Вальца.

Сам он уверял меня с виноватой улыбкой, что мазь была переперчена и что это недосмотр аптекаря. Тогда я велел попросить из аптеки рецепт, но получил ответ, что Вальц взял его обратно, а он сам сказал мне, что рецепта у него уже нет. Таким образом, я не мог установить, кто был отравителем, и лишь узнал у аптекаря, что главной составной частью мази было то вещество, из которого изготавливаются так называемые вечные шпанские мушки, и что вещество это, насколько он помнит, было во всяком случае прописано в необычайно большой дозе. Впоследствии мне задавали вопрос, не было ли это умышленное отравление, но я приписываю его просто невежеству и наглости врача-шарлатана.

По рекомендации вдовствующей великой герцогини Софии Баденской он стал директором всех детских больниц в Петербурге. По наведенным мною впоследствии справкам оказалось, что это был сын университетского кондитера в Гейдельберге; будучи студентом, он ничего не делал и не сдал ни одного экзамена. Его мазь повредила мне вену, от чего я страдал много лет.



Отто фон Бисмарк, посланник Пруссии в России

Желая посоветоваться с германскими врачами, я отправился в июле в Берлин морским путем через Штеттин; жестокие боли вынудили меня обратиться за советом к знаменитому хирургу Пирогову, который был вместе со мной на борту; он хотел ампутировать мне ногу и на мой вопрос, ниже или выше колена, указал место гораздо выше колена.

Я отклонил это и, безуспешно испробовав в Берлине разные процедуры, проделал затем в Наугейме курс лечения ваннами под наблюдением марбургского профессора Бенеке и поправился настолько, что мог ходить и ездить верхом, а в октябре – даже и сопровождать принца-регента в Варшаву на свидание с царем.

Когда на обратном пути в Петербург я заехал в ноябре к господину фон-Белову в Гогендорф, то образовавшийся у меня в поврежденной вене и закупоривший ее тромб оторвался, попал, по мнению врачей, в кровеносную систему и вызвал воспаление легких; врачи считали мою болезнь смертельной, но я выздоровел, прохворав несколько месяцев.

Мне странно теперь вспомнить, каковы были связанные с опекой впечатления умиравшего пруссака. После того как врачи приговорили меня к смерти, первым моим желанием было изложить на бумаге мою последнюю волю, исключавшую всякое судебное вмешательство в учрежденную опеку. Успокоившись на этот счет, я стал ждать конца с той покорностью, какую вызывают невыносимые страдания.

В начале марта 1860 года я уже настолько поправился, что мог уехать в Берлин, где в ожидании окончательного выздоровления принимал участие в заседаниях палаты господ и провел весь май.

Восстание в Польше. Борьба мнений в Петербурге. Позиция России и германское будущее

Движение в Польше, которое началось одновременно с переворотом в Италии и не без связи с ним и выразилось вначале в национальном трауре, церковном праздновании памятных для отечества дней и агитации земледельческих обществ, вызвало в Петербурге довольно длительные колебания между полонизмом и абсолютизмом. Дружественное полякам течение связано было с требованием конституции, явственно раздававшимся теперь в высших кругах русского общества. То обстоятельство, что русские, которые были ведь тоже образованными людьми, вынуждены были обходиться без учреждений, существовавших у всех европейских народов, и что они не могли принимать участия в обсуждении своих собственных дел, воспринималось как унижение.

Разлад на почве отношений к польскому вопросу распространился вплоть до высших военных кругов и привел к бурному объяснению между варшавским наместником генералом графом Ламбертом и генерал-губернатором генералом Герстенцвейгом, закончившемуся насильственной смертью последнего (январь 1862 года) при невыясненных обстоятельствах. Я присутствовал в одной из лютеранских церквей в Петербурге на его похоронах. Те русские, которые требовали для себя конституции, говорили иногда как бы в свое оправдание, что поляки не могут находиться под управлением русских и, в качестве более цивилизованных, могут предъявить повышенные требования на участие в управлении.

У князя Горчакова в его отношении к польскому вопросу чередовались то абсолютистские, то нельзя сказать чтобы либеральные, но парламентские приступы. Он считал себя крупным оратором, да и был таковым, и ему нравилось представлять себе, как Европа будет восхищаться его красноречием, расточаемым с варшавской или русской трибуны. Предполагалось, что либеральные уступки, которые были бы предоставлены полякам, не могут не распространиться и на русских; конституционно настроенные русские уже по одному этому были друзьями поляков.

Потребность Горчакова в популярности делала его неспособным противостоять либеральным течениям в русском «обществе». При оправдании (11 апреля 1878 года) Веры Засулич, стрелявшей в петербургского градоначальника, Горчаков был первым, кто подал сигнал к рукоплесканиям присутствовавших.

* * *

Происходившая в Петербурге борьба мнений была при моем отъезде оттуда в апреле 1862 года весьма оживленной, и это продолжалось в течение первого года моей министерской деятельности. Я взял на себя руководство министерством иностранных дел под тем впечатлением, что вспыхнувшее 1 января 1863 года восстание затрагивало не только интересы наших восточных провинций, но и другой вопрос, более важный по своим последствиям, вопрос о том, какое направление преобладало в русском кабинете – дружественное Польше или антипольское, стремление к панславистскому, антигерманскому братанию между русскими и поляками или [идея] взаимной поддержки русской и прусской политики.

Среди тех, кто стремился к братанию, русские были честнее; польское дворянство и духовенство едва ли верили в успех этих стремлений или принимали его во внимание как определенную цель. Вряд ли хоть один поляк видел в политике братания нечто большее, нежели тактический ход, имеющий целью обманывать легковых русских до тех пор, пока это могло бы представиться нужным или полезным. Это братание польское дворянство и его духовенство

отвергают если и не совсем с той же, то все же почти с такой же неизменностью, как братание с немцами; последнее для них во всяком случае еще неприемлемей не только из-за расовой антипатии, но и в силу того соображения, что при совместном государственном существовании русские оказались бы под руководством поляков, а немцы – нет.

Для германского будущего Пруссии позиция России была вопросом первостепенного значения. Дружественное полякам направление русской политики благоприятствовало бы оживлению русско-французских связей, к развитию которых стремились при случае со времени Парижского мира и даже раньше; тот дружественный полякам русско-французский союз, идея которого носилась в воздухе до июльской революции, поставил бы тогдашнюю Пруссию в затруднительное положение. В наших интересах было бороться против партии польских симпатий в русском кабинете, даже в том случае, когда симпатии эти понимались в духе Александра I. Из доверительных бесед, которые я вел частью с князем Горчаковым, частью с самим императором, я мог заключить, что Россия сама не давала никаких гарантий относительно того, что не будет брататься с Польшей.

Император Александр не прочь был тогда отдать часть Польши; он сказал мне это без обиняков, по крайней мере – по поводу левого берега Вислы, причем, не делая на этом особого ударения, он исключил Варшаву, которая как место расквартирования войск имела все же для армии свою привлекательность и стратегически входила в укрепленный треугольник на Висле. Польша представляла, по его словам, источник беспокойства и европейских опасностей для России, а руссификация ее неосуществима из-за различия вероисповеданий и из-за недостаточных административных способностей русских властей. Нам, немцам, удалось бы, по его мнению, германизировать польские области, у нас есть средства к тому, ибо немецкий народ культурнее польского. Русский же человек не чувствует того превосходства, какое нужно, чтобы господствовать над поляками; следует ограничиться тем минимумом польского населения, какой допускает географическое положение, т. е. – границей по Висле и Варшавой как предмостным укреплением.

Не могу судить, насколько зрелы и обдуманны были эти высказывания императора. С государственными людьми они были, повидимому, обсуждены, ибо самостоятельной, личной политической инициативы по отношению ко мне я никогда не наблюдал у императора.

* * *

Этот разговор состоялся тогда, когда уже было вероятно, что я буду отозван; мои слова, что я сожалею о моем отозвании и охотно остался бы в Петербурге, сказанные не только учтивости ради, но и в соответствии с истиной, побудили императора, не так меня понявшего, задать мне вопрос – не склонен ли я вступить на русскую службу. Я учтиво отклонил это, подчеркнув свое желание остаться вблизи его величества в качестве прусского посланника.

Не сказал бы, чтобы мне было неприятно в то время, если бы император сделал с этой целью какие-либо шаги; мысль о том, чтобы служить политике «новой эры» в качестве ли министра, в качестве ли посланника, в Париже или Лондоне, без перспектив на участие в нашей политике, не заключала в себе ничего привлекательного. Как и чем я мог бы быть полезен стране и своим убеждениям, если бы находился в Лондоне или Париже, я не знал, между тем как влияние, коим я пользовался у императора Александра и у его наиболее выдающихся государственных деятелей, не лишено было значения с точки зрения наших интересов. При мысли о том, чтобы сделаться министром иностранных дел, мне становилось не по себе, как бывает не по себе человеку, которому предстоит выкупаться в море в холодную погоду; но все эти ощущения были недостаточно сильны, чтобы побудить меня самого вмешаться в собственное будущее или просить о том императора Александра.

После того как я все-таки сделался министром, на переднем плане первоначально стояла в большей мере внутренняя, а не внешняя политика; в области последней мне под влиянием моего недавнего прошлого особенно близки были отношения с Россией, и я стремился сохранить по возможности за нашей политикой капитал того влияния, каким мы располагали в Петербурге. Было совершенно очевидно, что прусской политике, поскольку она развивалась в германском направлении, нечего было ожидать тогда поддержки со стороны Австрии. Представлялось маловероятным, чтобы благожелательное отношение Франции к нашему усилению и к объединению Германии надолго осталось искренним, [но] это убеждение не должно было служить препятствием к тому, чтобы временно принимать из соображений выгоды поддержку и поощрение от Наполеона, основанные на ошибочных расчетах.

По отношению к России мы были в таком же положении, как и по отношению к Англии, поскольку с обеими этими странами у нас не было принципиального расхождения интересов и поскольку с обеими нас связывала долголетняя дружба. От Англии мы едва ли могли ожидать чего-либо, кроме платонического доброжелательства да поучительных писем и газетных статей. Царская помощь, как показала венгерская экспедиция императора Николая, простиралась при [известных] условиях за пределы благожелательного нейтралитета. Что это будет сделано ради нас – не приходилось рассчитывать, но ничто не мешало учесть и такую возможность, что при французских попытках вмешаться в германский вопрос император Александр оказал бы нам при отражении этих попыток по крайней мере дипломатическую поддержку.

* * *

Настроение этого монарха, обосновывавшее такое мое допущение, обнаружилось еще в 1870 году, в то время как нейтральная и дружественная Англия со всеми своими симпатиями оказалась тогда на стороне Франции. Мы, таким образом, имели, по моему мнению, все основания поддерживать всякое проявление симпатии, которую в противоположность многим своим подданным и высшим чиновникам питал к нам Александр II, по крайней мере настолько, чтобы по возможности предотвратить присоединение России к враждебному нам лагерю. В то время нельзя было с уверенностью предвидеть, можно ли будет практически использовать этот политический капитал царской дружбы и если да, то как долго. Простой здравый смысл повелевал нам во всяком случае не допускать, чтобы он попал в обладание наших противников, которых нам следовало видеть в поляках, полонизирующих русских, и в конечном счете, вероятно, также и во французах.

Австрия в первую очередь имела в то время в виду соперничество с Пруссией на германском поприще, и справиться с польским движением ей было легче, нежели нам или России, так как католическая империя пользовалась все же у этих дворян и среди католического духовенства гораздо большими симпатиями, чем Пруссия и Россия.

Согласовать австро-польские и русско-польские планы братания будет всегда трудно, но образ действий австрийской политики в 1863 году в союзе с западными державами в пользу поляков доказал, что Австрия не боялась русского соперничества во вновь воскресшей Польше. Предпринимала же она троекратно – в апреле, июне и 12 августа – совместно с Францией и Англией шаги в пользу поляков в Петербурге. «Мы рассмотрели, – говорится в австрийской ноте от 18 июня, – условия, при которых Царству Польскому могли бы быть возвращены спокойствие и мир, и пришли к тому, чтобы сформулировать эти условия в нижеследующих шести пунктах, которые и представляем на рассмотрение Санкт-Петербургского кабинета: 1) полная и общая амнистия; 2) национальное представительство, участвующее в законодательстве страны и располагающее средствами действительного контроля; 3) назначение поляков на государственные должности, с тем чтобы была создана особая национальная администрация, пользующаяся доверием страны; 4) полная и неограниченная свобода совести и отмена

всех стеснений в отправлении католического культа; 5) исключительное употребление польского языка как официального, в управлении, в органах юстиции и при преподавании; 6) введение упорядоченной и узаконенной системы рекрутского набора». Предложение Горчакова, чтобы Россия, Австрия и Пруссия договорились об определении судьбы своих польских подданных, австрийское правительство отклонило, заявив, что «согласие, установленное между тремя кабинетами – венским, лондонским и парижским – создает между ними такую связь, от которой Австрия не может сейчас освободиться, чтобы вести отдельные переговоры с Россией».

Таково было положение, когда император Александр собственноручным письмом в Гаштейн уведомил его величество о своем решении обнажить меч и потребовал от Пруссии союза.

* * *

Военная конвенция, заключенная в Петербурге в феврале 1863 года генералом Густавом фон-Альвенслебеном, имела для прусской политики скорее дипломатическое, нежели военное значение. Она олицетворяла собой победу, одержанную в кабинете русского царя прусской политикой над польской, которая была представлена Горчаковым, великим князем Константином, Велепольским и другими влиятельными лицами. Достигнутый таким образом результат опирался на непосредственное решение императора вопреки стремлениям министров.

Соглашение военно-политического характера, которое заключила Россия с германским противником панславизма против польского «братского племени», нанесло решительный удар намерениям полонизирующей партии при русском дворе; в этом смысле довольно незначительное с военной точки зрения соглашение выполнило свою задачу с лихвой.

Военной надобности в нем в тот момент не было, русские войска были достаточно сильны, и успехи инсургентов существовали в значительной своей части лишь в весьма иной раз фантастических донесениях, которые заказывались из Парижа, фабриковались в Мысловицах, помечались то границей, то театром военных действий, то Варшавой и появлялись сперва в одном берлинском листке, а затем уже обходили европейскую прессу.

Конвенция была удачным шахматным ходом, решившим исход партии, которую разыгрывали друг против друга в недрах русского кабинета антипольское монархическое и полонизирующее панславистское влияния...

В том же 1863 году император Александр в собственноручном послании энергично высказался в пользу прусско-русского союза. Императора утомила придирчивая назойливость как западных держав, так и австро-польская, и он решил обнажить меч, чтобы избавиться от нее; обращаясь к дружбе и к одинаковым [с ним] интересам короля, он призывал его к совместному действию в смысле, так сказать, расширенного понимания Альвенслебенской конвенции от февраля того же года.

Королю было трудно как ответить отказом близкому родственнику и ближайшему другу, так и освоиться с решением возложить на страну бедствия большой войны и обречь государство и династию на связанные с ней опасности.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.